СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ

УДК 930

Исторический источник: жизнь в контексте времени

Татьяна Павловна Хлынина

Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, Российская Федерация
344006, Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41
Доктор исторических наук
E-mail: tatiana_xl@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с природой исторического источника, особенностями его восприятия и существования в пространстве несовременной ему эпохи. Отмечается особая роль исследователя в его профессиональной жизни и возможностях постижения прошлого.

Ключевые слова: источник; методологические новации; «новая историческая наука»; междисциплинарность; квантификация; историческая наррация; источники личного и официального происхождения.

Профессиональное занятие историей, как, впрочем, и любым иным рационально обоснованным видом деятельности, требует освоения и неукоснительного выполнения ряда предписаний. Одним из них является обязательное использование исследователем исторического источника, той единственной нити, которая связывает его с прошлым. При этом представления о природе происхождения самого источника, характере отображаемых им событий и прочитываемости на языке несовременной ему действительности предметом профессионального обсуждения становились нечасто. Источник воспринимался фотографическим оттиском прошлого, а его отношения с исследователем – вопросом в большей степени надуманным, нежели способствующим прогрессу исторического познания, который чаще всего оценивался по количеству введенных в научный оборот документальных свидетельств несовременной нам реальности. С течением времени ситуация существенным образом изменилась, а вслед за нею изменялись и представления о познавательных возможностях источника.

Изменения, происходящие в понимании природы исторического источника, его воздействия на воссоздание образов прошлого, оказались неизбежным следствием расширения области традиционного историописания. Уже со второй половины XX столетия, благодаря усилиям второго поколения «Школы Анналов», принцип междисциплинарности становится ведущей исследовательской стратегией постижения прошлого. Осознание его возможностей привело к становлению «новой исторической науки», выступавшей против «событийно-описательной истории и объяснения событий прошлого действием универсальных закономерностей», а также глубоко укоренившегося в сознании профессионального исследователя представления «о полной зависимости ученого от документа» [1]. В недрах «новой исторической науки», пожалуй, впервые со времен В. Дильтея источник ставился в прямую зависимость от творческой активности самого исследователя и решаемой им научной проблемы, определяющий не только отбор свидетельств прошлого, но и ракурс их освещения.

Идея междисиплинарности и поиски нового методологического синтеза привели к осознанию родовой близости истории и литературы; появлению представлений о труде историка как о литературном произведении, историческом нарративе, где неизбежно возникающая дистанция между источником и его толкователем (профессиональным

читателем) восполняется силой воображения последнего. При этом сам источник перемещается в плоскость породившей его культуры и рассматривается в качестве текста, вбирающего в себя разнообразные смысловые коннотации времени, пристрастия его автора и коллективные представления о значимости передаваемых событий. Таким образом, в пространстве нового междисциплинарного синтеза исторический источник окончательно утрачивает статус самодостаточного и внеположенного сознанию исследователя фрагмента реальности, все более наделяясь свойствами рукотворности происхождения и схожести с литературным произведением.

Дальнейшая ревизия представлений о природе исторического источника оказалась тесно связанной с общими изменениями интеллектуального климата, прежде всего в европейском научном сообществе, поставившем под сомнение саму возможность постижения реальности так таковой вне языка и создаваемого им текста. Лингвистический поворот конца 1980-х – середины 1990-х гг. «расколол научное сообщество на историков традиционного (негативно настроенного по отношению к методологическим рефлексиям) мировоззрения и философски-ориентированных новых интеллектуальных историков, относящихся к традиционализму весьма критически» [2]. Однако, несмотря на сохраняющийся и по большей своей части сознательно культивируемый консерватизм, историки-традиционалисты сталкиваются с теми же проблемами методологического свойства, что и их более «раскрепощенные» коллеги – с необходимостью отбора, истолкования исторических свидетельств, а также их перевоплощения в связное повествование. Именно с исторической наррацией как продуктом творческой деятельности историка и возможностями ее сугубо научной верификации связаны дискуссии последнего времени. Традиционалисты видят в ней лишь форму материализации прошлого, одну из возможностей его репрезентации. В свою очередь, исследователи, склонные к методологическим рефлексиям, сопрягают ее с самим прошлым, полагая, что «лжи исторической на свете просто не существует, потому что история – это не то, что было, а то, что рассказывается и, тем самым, создает для развития человечества опору и прецедент» [3].

Постмодернистский вызов поставил под сомнение не только традиционные концепции исторической реальности, но и существование самого объекта исторического познания. В своем новом истолковании они выступают «не как нечто внешнее для познающего субъекта, а как то, что конструируется языком и дискурсивной (речевой) практикой. Язык рассматривается не как простое средство отражения и коммуникации, а как главный смыслообразующий фактор, детерминирующий мышление и поведение» [4]. Проблематизируются само понятие и предполагаемая специфика исторического нарратива как формы воссоздания прошлого, подчеркивается его искусственный и до некоторой степени произвольный характер. От историка все чаще требуются литературоведческие навыки работы с текстом исторического источника, позволяющие ему вскрывать и анализировать содержащиеся в нем смыслов.

Распространение новых приемов критики текстов за пределы собственно художественных произведений оказало непосредственное воздействие и на методологию самого исторического исследования. В 1970–1990-х гг. возникает целое направление, получившее наименование «интеллектуальной истории» или «метаистории», где основное внимание уделялось соотношению произведения историка, исторического нарратива и исторического источника, отождествляемого с текстом. Новые интеллектуальные историки, стремясь выявить своеобразие логики исторической наррации, привлекли внимание профессионального сообщества к стилистике, типам и особенностям ее композиции, используемым в ней понятиям, соотнесенности проблемы исследования и социальных условий ее порождения, тексту исторического источника и возможностям его аутентичного прочтения. Методологические аспекты творчества историка и репрезентации результатов его деятельности, ставшие предметом профессиональной рефлексии, оказались весьма полезными для понимания самого процесса постижения прошлого и практик работы с историческим источником.

В данной связи нельзя не согласиться с замечанием О.М. Медушевской, отметившей, что «современные гуманитарии после всех филиппик против узости позитивистского догматизма в изучении именно письменных текстов, кажется, готовы признать, что каждый источник – это, прежде всего текст… В сообществе историков, столь активно отрекавшихся

ранее от знаменитой формулы позитивизма, происходит, по-видимому, некоторый поворот к объекту гуманитарного познания, к источнику» [5]. Постепенно возрастает осознание того, что полное знание фактов недостижимо, что единственная доступная исследователю реальность заключается в документе, в этом «следе, который оставили после себя события прошлого».

Эпистемологические вызовы последних трех десятилетий, фактически поставившие под сомнение сам факт возможности, а в ряде случаях, и целесообразности постижения реалий прошлого изменили не только привычные представления о природе и предназначении исторического познания, но и его основной опоры – исторической информации. Попытки вернуть истории утрачиваемые ею научные позиции привели к формированию источнико-ориентированного подхода, представляющего собою по существу обновленную версию квантификации. Как отмечает Н.Б. Селунская, «опыт развития квантификации как направления породил на современном этапе сомнения даже в среде клиометристов относительно ранее высказываемых амбициозных претензий с их стороны о возможности открытия новых путей получения исторического знания». Его результатом стала известная трансформация самого направления в новое по своим теоретико-методологическим основаниям течение «историческую информатику» или «history and computing». Оно позиционирует себя как «антагонистическое» по отношению к квантификации, что проявляется, в частности, в полемике между «проблемно-ориентированным» и «источнико-ориентированным» подходами. По заключению исследовательницы, данный этап специализации и дифференциации «квантификации» как историографического направления оказался вполне естественным и одновременно может рассматриваться в качестве болезни профессионального роста. Сторонники прочтения квантификации, как «источнико-ориентированного» подхода к истории, ограничивают рамки квантитативного исследования лишь решением задач разработки компьютерных технологий для анализа исторической информации.

Однако как бы ни были значительны успехи в области разработки новых компьютерных технологий и программного обеспечения для работы с разного рода исторической информацией, что значимо и необходимо само по себе, они не могут рассматриваться в отрыве от развития историографического процесса в целом. В пространстве же декларируемого «источнико-ориентированного» подхода даже источниковедческий аспект присутствует в редуцированном виде, что происходит вследствие утраты исторического подхода, как в источниковедческом анализе, так и исторической интерпретации источника. Основная цель «исторической информатики» состоит «в наиболее полном представлении информации источника в его компьютерной модели». При этом за ее пределами зачастую остаются источниковедческие характеристики извлекаемой информации, видовые особенности документального материала, которые «уже расцениваются как заслуживающие пренебрежения при рассмотрении лишь различий в способе кодирования информации, то есть на уровне типа источника: текст – статистика» [6].

В целом, оценивая усилия новой квантификации по созданию более точных и математически совершенных методов прочтения исторических источников, специалисты указывают на их крайне ограниченные возможности применения. В частности, отмечается, что «предложенный специалистами точных наук набор теорий и схем дает историку новые возможности для выбора и для последующей длительной аналитической работы по адаптации этих теорий “на своем поле”» [7]. Вместе с тем, «моделирование системы “народ – правительство” или описание социально-экономических систем вообще это задачи политологического или социологического, но не исторического исследования, которое может обрести свою жизнь лишь в пространственно-временных координатах, через плоть и кровь исторического источника» [8].

Обращение к социальной истории, которая в последнее время претендует на всеохватность человеческого бытия в целом и область междисциплинарного синтеза в частности, по образному выражению современного исследователя, «буквально взрывает традиционное источниковедение, создавая предпосылки беспредельного расширения, как проблематики, так и фактической базы исторических трудов» [9]. Историческая наука перемещается в плоскость разнообразной и не всегда явной пониманию исследователя

динамики человеческой жизни, раздвигая, тем самым, грани исторического познания. Исследование проблем социальной истории, ее установка на изучение истории «снизу», внимание к «мелочам и частностям» привносят новые акценты в работу историка с источниками. Даже в ситуации открытия многих архивных фондов исследователи продолжают «спорить, как приблизиться к пониманию существа социальных процессов, как воспроизвести истинные мысли, ценности, чаяния рядовых людей в условиях распространения двоемыслия и самоцензуры в обществе, считавшемся "хранящим молчание или говорящим лишь языком Сталина и официальной прессы"» [10].

Существенное значение, по заключению специалистов, для социальной истории имеют такие группы источников, которые отражают непосредственные взаимоотношения людей с государственными и общественными институтами. Среди них письма, обращения, заявления, жалобы, персональные дела, судебно-следственные материалы, служащие источниками для построения индивидуальных и коллективных биографий. Вместе с тем, их использование не только обогатило наши представления о советской эпохе, но и поставило ряд вопросов, в частности о соотношении информации и смысла в историческом источнике. Рассматривая данную проблему на примере следственных дел репрессированных, барнаульская исследовательница Н.В. Кладова отмечает, что «в настоящее время уже не вызывает сомнения тот факт, что увеличение информации не обеспечило автоматически рост возможности ее осмысления и понимания. Напротив, увеличение потока информации, содержащейся в следственных материалах, не только не проясняет сущность описываемых в них событий, но усиливают ощущение абсурдности всего происходившего» [11]. Исходя из понимания прошлого как текста, требующего дешифровки, исследовательница пришла к выводу, что именно такой подход как раз и позволяет вывести понимание исторического источника «посредством новой неклассической парадигмы» на новый уровень. В ее рамках любой исторический источник предлагается рассматривать в качестве сущностно-содержательной модели реально происходивших событий, где следственные дела – «это своеобразная модель политического поведения различных страт советского общества, хранящая в себе информацию о его способах самоорганизации, формировании антиэнтропийного механизма и поддержании состояния неустойчивого равновесия в условиях модернизации властного типа».

Содержащаяся в этом виде исторического источника информация несет в себе два «слоя образов»: «образы, реально функционирующие в обществе, и образы, проецируемые бессознательно… Именно поэтому такие многослойные тексты, как следственные дела репрессированных, необходимо подвергнуть специфическим операциям, которые помогут обнаружить скрытую информацию, находящуюся в области бессознательной части психики, как самих создателей текста, так и тех, для кого он был предназначен» [12].

Однако в целом, несмотря на подчеркнуто антропологически ориентированный характер, отечественное источниковедение оказалось неготовым к вызову социальной истории. Не произошло решительных перемен ни в области классификации, ни в представлениях о значимости видов и категорий источников. До сих пор «сохраняется знаковая модель источниковедческих приоритетов. Вначале предлагается изучать источники, характеризующие "заботу государства… о своей истории" – законодательные и нормативные акты, партийные документы, делопроизводственные материалы госучреждений и общественных организаций. В архивоведческой практике это нашло яркое выражение в сохранившемся с советских времен выделении категории "особо ценных" документов … Показательно, что критерии особой ценности остались прежними, исходящими … из государственных интересов» [13].

Наряду с попытками переосмысления значимости и места в структуре исторической наррации источников официального происхождения в пространстве социальной истории особую роль приобретает работа с источниками личного происхождения. Их «особость» видится, прежде всего, в созвучии миру повседневности. Дискуссия, развернувшаяся в отечественной историографии относительно возможностей использования различного типа источников в постижении «высокого смысла ежедневного существования», показала, что подавляющее большинство исследователей отдает безусловное предпочтение многоликим проявлениям человеческой памяти. Воспоминания, дневники, частная переписка, завещания людей минувшего времени рассматриваются ими в качестве единственно

доступного проводника в мир повседневной жизни наших предшественников. При этом отмечается, что «нет такого источника, в котором в той или иной форме не нашли свое отражение взгляды, мнения, настроения людей, их личные или групповые пристрастия… Меняется лишь иерархия источников: для изучения ментальностей важны в первую очередь не официальные документы, а материалы личного происхождения» [14].

Однако перемена иерархии потребовала не столько смены источниковедческих предпочтений, сколько нового взгляда на проблему достоверности используемых исследователем свидетельств прошлого. Несколько лет тому назад была предложена схематичная, но, тем не менее, действенная типология источников личного происхождения. Они подразделялись на: «предназначенные для широкого круга читателей-современников или написанные в назидание собственным потомкам; адресованные друзьям, родным и знакомым; интимные мемуары, написанные, как правило, глубоко верующими людьми для немногих духовно близких людей. Разумеется, откровенность личных источников определялась не только тем, для кого они создавались, но и психологическими особенностями их авторов. И все же можно утверждать, что информация из последней (самой малочисленной) группы источников дает исследователю возможность проникнуть в подлинный духовный мир людей» [15].

Рассматриваемая типология, исходящая из принципа «психологической достоверности» источника, как и любая иная схематизированная версия, грешит некоторой абсолютизацией собственных возможностей. Во-первых, в ее пространстве исчезают различия между достоверностью передаваемой информации и откровенностью повествователя. Во-вторых, для эпохи официального торжества атеистического мировоззрения и превращения обыденной жизни в ежедневный подвиг, основными источниками «личных впечатлений» становятся дневники, письма во власть, жалобы и доносы. Стремительно меняющейся ритм жизни в пореволюционной России влечет за собою поиск новых более оперативных форм воздействия на «живую историю». Советский человек в меньшей степени, нежели его предшественник XIX в., стремился литературно осмысливать происходившие с ним изменения, он в большей мере хотел быть и во многих отношениях являлся их активным участников. Именно это обстоятельство определяет и окрашивает собою весь корпус советских источников личного происхождения.

Наглядным подтверждением тому являются фонды личного происхождения, комплектация которых производится самими фондообразователями (в данном случае гражданами), а отбор осуществляется соответствующими архивохранилищами. Отмеченная двойственность на уровне «комплектации – отбора» неизбежно сказывается на содержании и характере поступающих в архивы документов. Существующая на сегодняшний день практика образования фондов личного происхождения исходит из принципа общественной значимости конкретного лица и масштабов его деятельности. В поле зрения официальных архивохранилищ, как правило, попадают далеко не обычные люди, а те, чьи судьбы и жизнь в той или иной степени оказываются связанными с историей страны в целом или ее отдельных населенных пунктов. Осознание этими людьми (либо их наследниками) сопричастности к «большой истории» формирует видовой корпус отбираемых ими источников, представленных в основном документами служебной и общественной деятельности, автобиографическими материалами, в незначительной степени личной перепиской и дневниками.

Так, Национальный архив Республики Адыгея на сегодняшний день представлен 21 личным фондом, треть которого продолжает пополняться. Среди его фондообразователей – представители творческой интеллигенции (артисты, врачи, ученые), участники Гражданской и Великой Отечественной войн, известные общественные деятели. При этом инициатором образования фондов выступает сам архив, что, собственно, предопределяет не только характер находящихся в них документов, но и их исследовательские возможности. Статус «архивного документа», получаемый такого рода свидетельствами прошлого, вовсе не означает их автоматического перевода в разряд интересных и информативных собеседников для тех, кого интересует мир повседневной жизни наших предшественников и современников. Тем не менее, несмотря на преимущественно публичный характер документов, представленных в личных фондах (трудовые книжки, производственные характеристики, благодарственные письма и наградные листы), они помогают понять

принципиально важные вещи. Каким образом происходило выстраивание стратегий жизнедеятельности людей прошлого, каким из элементов этих стратегий отдавались предпочтения, и предлагалась долгая жизнь, а какие подлежали забвению и обрекались на исчезновение, не находя отражения в документальных свидетельствах времени.

Практически однотипные и мало чем отличающиеся друг от друга материалы личных фондов, прежде всего, говорят языками своих создателей и отражают общепринятые представления об успешности и состоятельности людей своего времени. Показательно, что практически все они лишены бытовой составляющей и нацелены на канонизацию образа своих владельцев. Казалась бы, исследовательская значимость таких источников предельно сужена и может рассматриваться лишь иллюстрацией к наиболее памятным событиям исторического прошлого. Однако благодаря различного рода эпистемологическим прорывам последнего времени, они получают «вторую жизнь» и перемещаются в плоскость самостоятельных величин. В данной связи материалы личных фондов представляются «артикуляцией жизненных историй – той деятельности, через которую в жизнь привносятся смысл и цель». По мнению польского социолога З. Баумана, «как это ни парадоксально, истории, рассказанные о жизни, вмешиваются в прожитую жизнь еще до того, как она проживается и о ней становится возможным рассказать» [16]. В отличие от рассказанных историй истории письменные задают определенные каноны этой жизни, тем самым, закрывая для исследователя многие ее горизонты и «факультативные» подробности.

Вместе с тем, несмотря на открывшиеся новые возможности диалога с прошлым, фонды личного происхождения оказываются менее востребованными по сравнению с иными архивными документами. В том же архиве большой популярностью среди исследователей пользуется фонд почетного гражданина города Г.П. Шапошникова, содержащий разнообразный историографический материал по истории г. Майкопа и, по сути, представляющий собою отражение его жизни в дореволюционных и современных публикациях. Его востребованность объясняется как сугубо объективными обстоятельствами (наличием в архиве лишь одного дореволюционного фонда), так и текущей конъюнктурой, связанной с юбилеем города. Более того, сам фонфообразователь является обладателем репутации «известного майкоповеда», выступает автором книги по истории города и слывет ее знатоком. Остальные фонды, к сожалению, пока еще ждут своего внимательного читателя и нуждаются в более масштабном и грамотном представлении.

Не менее действенными, хотя и более скромными возможностями в передаче «жизненной атмосферы» времени обладают и официальные источники – многочисленные документы всевозможных органов власти, общественных организаций и политических партий. При всей их сухости и малой информативности в интересующей историка повседневья области изучаемого прошлого, они несут на себе публичный образ эпохи. В нем находят свое отражение правовые, идеологические, мировоззренческие и материальные ограничения времени, в пространстве которых действует и живет большинство его современников. Правда, особенности комплектования отечественных архивов привели к преобладанию в них партийно-государственной документации, в результате чего вопросы, интересующие историка советского повседневья, получили в них крайне неравномерное отражение. По остроумному замечанию современного исследователя, «большинство материалов, которые попадают в архивы, представляют собой заботу государства о самом себе, о своей истории, а не истории общества, в котором мы живем, и историк, обращаясь к ним, зачастую оказывается в роли чужака в чужой стране» [17].

Помимо скупости свидетельств и тенденциозности предоставляемой информации, источники официального происхождения отличает и такое любопытное свойство, как герметичность или крайне плохая проницаемость. Оно сводится к повсеместной констатации источником рассматриваемых явлений или фактов, не сопровождаясь при этом каким-либо внятным пояснением или реакцией соответствующей инстанции. Так, работая с протоколами организационного бюро Адыгейского областного комитета партии, исследователь очень часто наталкивается на ряд «закрытых» вопросов: поставленные в повестку дня, в своей «решающей» части они снабжены пометкой «не для разглашения». Среди подобного рода вопросов – зарплата ответственного редактора областной газеты, бытовые преступления в области, квартиры для ответственных работников, оплата суточных

выезжающим в область коммунистам, злоупотребления, «имеющие место в низовых комитетах крестьянской взаимопомощи».

Весьма показательно, что степень неразглашаемости того или иного вопроса зачастую оказывается никак несвязанной с его секретностью или уникальностью. Не разглашая состояние бытовых преступлений, организационное бюро подробно в форме многостраничного доклада освещает политическую ситуацию в области на 1925 г., отмечая «целый ряд негативных явлений в этой сфере» [18]. Не меньшие «странности» сопряжены и с нежеланием партийных органов «делиться» полученными сведениями по обсуждаемым вопросам. Практически все из них, тем или иным образом тяготеющие к «бытовому свойству», сопровождаются грифом «принято к сведению» или «заслушано». В течение нескольких заседаний высший партийный орган области засушивал отчеты о бытовом положении рабочих кенафных плантаций, и каждое из этих заседаний сопровождалось простой отметкой в протоколе о «заслушивании вопроса» [19].

Столь «равнодушно ревнивое» отношение власти к бытовой стороне жизни общества, прослеживаемое по одному пласту официальной документации наталкивается на огромный противовес постановлений той же самой власти по «улучшению бытовых условий жизни трудящихся». Источниковедческий парадокс, складывающийся в этой ситуации, свидетельствует, прежде всего, о предпочтениях власти и ее безусловной ориентации на хозяйственно-политическую составляющую развития общества. Существование быта и его значимости в жизни советского человека никогда не оспаривалось официальной властью. Однако, ее собственные представления о нем, находившие отражение в кампаниях по «выкорчевыванию многочисленных буржуазных предрассудков населения, его пристрастий к кисейным занавескам и желтым канарейкам», отводили этой стороне жизни общества весьма скромное, но идеологически обоснованное место. Следы этой «обоснованности» как раз и прослеживаются в источниках официального происхождения.

Новая методологическая ситуация и порождаемые ею эпистемологические соблазны расширяют источниковую базу исторических исследований и одновременно «выдвигают принцип адекватности предлагаемых подходов и методов объекту и субъекту исследования, а также используемых источников» [20]. Вместе с пониманием неоднозначности природы исторического источника, необходимости не столько правильного его прочтения, сколько нахождения внятных ему вопросов появляется и потребность в осмыслении его возможностей. Любой профессиональный историк, приступая к разрешению какой-либо задачи, начинает с анализа находящихся в его распоряжении источников. Причем, выстраивая логику изложения события, он редко задумывается над тем, каким образом используемое им свидетельство прошлого встроено в современную исследовательскую практику, как попало в поле зрения специалистов и насколько предопределило перспективу развития самой научной мысли. Более того, мало кто из профессиональных исследователей прошлого задается и вопросом о характере взаимоотношений, складывающихся между историографической традицией и постоянным расширением комплекса вводимых в научный оборот документальных систем.

По заключению В.П. Козлова, «пятнадцать последних лет в России характеризуются прорывом в “практической историографии”, связанным с массовым изданием разных видов исторических источников, целых документальных комплексов различных исторических эпох, и в и первую очередь по истории XX века» [21]. Однако самыми серьезными прорывами, пришедшимися приблизительно на тот же период времени, историческое знание обязано не документальному «буму», а «теоретическим мятежам» последней трети минувшего века.

Примечания:

1. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. М.: Дрофа, 2004. С. 228–229.

2. Медушевская О.М. Становление и развитие источниковедения. URL: http://avorhist.narod.ru/publish/istved1-2-14.html (дата обращения: 12.02.2012).

3. Эко У. Баудолино. СПб.: Симпозиум, 2005. С. 535.

4. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. Указ. соч. С. 245.

5. Медушевская О.М. Указ. соч.

6. Селунская Н.Б. От квантификации к исторической информатике – от исторической к виртуальной реальности? URL: http://kleio.asu.ru/aik/bullet/19/32.shtml (дата обращения: 23.02.2012).

7. Математическое моделирование исторических процессов. М.: Издательство Московского государственного университета, 1996. С. 16–17.

8. Селунская Н.Б. От квантификации к исторической информатике – от исторической к виртуальной реальности?

9. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика. М.: Высшая школа, 2004. С. 364.

10. Там же. С. 365.

11. Кладова Н.В.Следственные дела репрессированных: соотношение информации и смысла в историческом источнике. URL: http://new.hist.asu.ru/biblio/borod3/74-79.html (дата обращения: 23.02.2012).

12. Там же.

13. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика. М.: Высшая школа, 2004. С. 365.

14. Куприянов А.И. Историческая антропология. Проблемы становления // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М.: АИРО–XX, 1996. С. 377.

15. Там же. С. 378.

16. Бауман З. Рассказанные жизни и прожитые истории // Социологические исследования. 2004. № 1. С. 9.

17. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика. М.: Высшая школа, 2004. С. 65.

18. Хранилище документов новейшей истории Государственного учреждения «Национальный архив Республики Адыгея». Ф. Р-1. Оп.1. Д. 24а. Л. 119.

19. Там же. Д. 181.

20. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика. М.: Высшая школа, 2004. С. 64.

21. Козлов В.П. Основы теоретической и прикладной археографии. М.: РОССПЭН, 2008. С. 3.